

Александр Серафимович

**Зарева**

**Серафимович Александр  
Зарева**

Александр Серафимович  
Зарева

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от темного обрывистого, с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, ленивым поворотом пропавшую за дальним смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, который весь отражался высокими белыми меловыми обрывами гор. И белым облачкам находилось место в глубине, и синевшим пятнам неба, только солнце не могло отразиться четко и ярко и плавилось серебром по всей живой, играющей поверхности.

В синем просвете расступившихся гор золотились кресты издали белевшего монастыря. Но и монастырь отсюда кажется спокойным, молчаливым, без звучащих колоколов. Только светлые, прозрачно набегающие морщины моют золотистый песок, да чуть приметно шевелятся темные листья задумчиво свесившихся над обрывом с размытыми весеннею водою корнями деревьев.

Ясная, светлая, задумчивая улыбка, улыбка тихого созерцания лежит на облаках, на белых отражениях гор, на синеве неба, на серебряно-светлой, лениво-ласковой реке.

И эта тихая улыбка, эта задумчивость созерцания не нарушается присутствием человека. Даже наполовину вытащенный на отмель каюк, выдолбленная из дерева лодка кажется не делом человеческих рук, а почернелым от времени, свалившимся с родного берега лесным гигантом, много лет лежащим наполовину в воде и ласково омываемым веселыми струйками.

И рыбацья избушка, приютившаяся под самым темным, с нависшими деревьями обрывом, скорей напоминает старый-престарый, почернелый от дряхлости и дождей гриб с наклонившейся шляпкой.

Все заморожено тихой, ласковой незнаемой таинственной жизнью, которою живет природа вне человеческого сознания.

Далекий слабый удар колокола донесся оттуда, где торопливо, растерянно и с ненужной тревогой блистали в воздухе мелькающим блистанием золоченые кресты. Он при-

плыл оттуда, слабо колебаясь, стирая эту особенную таинственную улыбку, эту задумчивость созерцания, и поплыл над водой, все слабея, теряя жизнь и вместе с рекой пропадая за поворотом.

Пропала улыбка дня, - просто белели облака, меловые обрывы, сверкала под солнцем река, и было видно, что около каюка песок, был истоптан человеческими ногами, валялись чешуя, кости и рыбы объедки.

Из избушки вышел человек, старый, но крепкий, с сивой бородой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями. Приложил козырьком черную, просмоленную ладонь и поглядел туда, где беспокойным трепетом сверкали кресты и откуда плыли все те же слабые, обессиленные расстоянием, едва гудящие удары колокола.

Шершавые усы сердито шевельнулись.

- Ну, завыли!

И, двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся, и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючьями, и стал подтачивать их напильником и протирать саль-

ной тряпкой, чтобы не ржавели в воде.

Рыбу он держал в плетенках, спущенных на веревке в реку, и два-три раза в неделю к нему приезжали скупщики закупать.

В праздники, когда отойдет в монастыре обедня, на той стороне, под белыми горами, зачернеют люди, забелеют бабьи платки и юбки и доплывет:

- Афиногены-ыч!..

А у него только шевелятся брови, и спокойно доделывает свое: спускает рыбу в плетенки, или перебирает крючки, насаживая наживу, или наращивает оборвавшийся конец бечевы.

- Афиноге-е-ны-ы-ыч! По-да-ва-а-ай!..

Откликаются белые горы, доносит зеркало реки, шепчут нависшие деревья.

Долго сидят крохотные игрушечные люди под белыми горами у самой воды, а у деда шевелятся сердитые брови, шершавые усы.

Покончив с последним крючком, аккуратно распустив и свернув пальцами бечеву, Афиногеныч берет прислоненное к избушке длинное узкое весло, идет к каюку и, напряжившись и навалившись могучими плечами,

сталкивает его со скрипучего песка на весело колеблющуюся, ждущую воду. И каюк, освободившись от неподвижной тяжести, тоже начинает шевелиться, покачиваться и легко поворачиваться, точно заражаясь вольным, веселым задором.

Весло мерно и сильно проходит, изламываясь, в прозрачной воде, и под круглым, тупым черным носом бежит стекловидный вал, далеко разбегаясь двумя морщинами.

А солнце уже высоко, и нет расплавленного серебра, - синяя река, синее небо, - и только в одном месте безумно-ослепительно играет и колеблется нестерпимый блеск.

Уже слышны голоса, говор и смех, но люди еще маленькие, еще не отчетливы промоины, расщелины обрывов, - по воде далеко слышно. Вот и белые отражения гор задрожали под каюком, заволновались, запрыгали, уродливо вытягиваясь и расплываясь. Ближе и ближе...

Каюк мягко насовывается на берег. Люди толпятся, торопясь поскорее забраться в колышущуюся под ногами, живую, вертучую лодку, а Афиногеныч сердито подымает весло.

- Куды-ы? За перевоз подавай... Не пущу... Куды лезете? Перевернете, идолы березовые!

Развязывают затянутые узелками уголки платочков, достают кисеты.

- Афиногеныч, я те отдам после... Вот как перед господом, отдам.

- Ну, после и перевезу.

- Да что ты, зверь лютый, утроба ненасытная, пропасти на тебя нету. Никогда копейки не поверит... Жри, чтоб ты подавился!

Старуха нищенка низко кланяется и причитает:

- Смилуйся, государь ты батюшка, пожалей старуху ледащую!.. [ледащая худая, плохая, слабая] Только и подали на паперти три копеечки... на цельную на неделю.

- Подавай, сказываю! А нет, так отчаливай... Неколи мне тут с вами тары-бары раста-барывать.

Нищенка торопливо роется, моргая красными, слезящимися глазами, подает деньги и лезет в колышущуюся, зыбкую лодку. Афиногеныч суров и неумолим. И только когда все отдали по копейке с рыла, он наваливается на весло, отталкивается от берега, и опять

впереди бежит, разбиваясь, стекловидный вал, и зыблются отражения.

В лодке стоит говор, Афиногеныча ругают и живодером и сквальгой [сквальга - скарעד, скупец, скряга], но добродушно, - и он, как будто речь не о нем, сосредоточенно бурлит живую, игристую воду веслом. Вода у самых бортов бежит мимо, лодка загружена, и все сидят смирно, цепко держась за влажные, скользкие края, - при малейшем движении вода хлынет и наружу вывернется круглое черное дно. Белые горы позади все ниже, а навстречу бежит золотистая отмель, свесившиеся деревья, почернелая избушка.

На другом берегу все весело выбираютя на песчаную отмель и гурьбой направляются в деревню. Выбирается и старушонка со слезящимися глазами. Афиногеныч аккуратно прилаживает на берегу каюк, ставит весло и, обернувшись, неодобрительно и сурово смотрит вслед плетущейся нищенке. И говорит:

- Ну, куды пошла? Не успеешь с голоду сдохнуть?.. Поспеешь.

Та в недоумении останавливается. Он нагибается над плетенкой и начинает выбрасы-

вать на облипающий ее песок трепещущую рыбу.

- А?.. - растерянно говорит старушонка.

- Сулка... [рыба, судак] Уха из нее добрая...

Ребятишки-то знают, как выхлебать... Вот те карасиков, тоже хорошо в уху... Стерлядок...

Старуха, по-прежнему растерянная и радостная, набирает полон подол живой, ворочающейся рыбы и униженно кланяется.

- Спасет те Христос, касатик, мать пресвятая богородица...

- Ну, ну, ступай, ступай! Всем одинаково кланяетесь - и кто дает, и кто в шею бьет.

Афиногеныча недолюбливают и сторонятся, но, когда собираются в монастырь, идут к нему, чтобы не делать большого крюка на паром. Хмурый и молчаливый, он перевозит.

Иногда усядутся у обрыва под деревьями посидеть и передохнуть.

- Привел господь, сподобился отстоять утреню и обедню. Дюже хорошо отец Паисий ноне говорил, до слезы даже: любите, грит, друг друга...

- Пели нонче уж хорошо.

- Чисто андельскими голосами.

- Энто, как сделает чернявенький: о-о-о... у-у... а-о-о...

Мужик перекошил лицо, сделал рот круглым и заскрипел на всю реку. Низко летевшие чайки шарахнулись. А Афиногеныч:

- Это ангелы так поют?.. А потом, вчерась, вечером, - хмуро говорит он, ни к кому в особенности не обращаясь, - пятерых бабенок перевозил... для монахов... на святое дело... Ядреные бабенки...

Все хмуро замолкали. И как-то иначе глядели горы, отмель, иначе золотились кресты. Но потом вскипало раздражение, и с слегка вспотевшими лицами ему кидали злобно:

- Глядим мы на тебя, Афиногеныч, не то ты богопротивник, не то ты беспоповник, не то бусурман, - лба не перекрестит, так бесперечь и живет, ни ему праздники, ни ему воскресный день.

Старик хмуро копается и говорит:

- Рыба вон ходит в воде, тоже праздников нету... - И перебивая самого себя и усмехаясь: - Был я молодой и крепкий, были у меня товарищи. Знали мы праздники. Бывалыча, как праздник, народ перепьет, как свиньи, в

грязь рылом тыкаются, потому в праздники полагается скотиной ходить, перепьются, ну нам праздник: заберемся в церкву да кружку-то и опорожним... Праздник!

На него сыплются ругательства:

- Нехристь!

- Святотатец!

- Иуда-предатель!

- Известно, ты - конокрад, вор и душегубец.

Удивление, как господь тебя терпел! Одного тебе надо было - кнутовище в зад. Рыба!.. Да ты хуже рыбы, хуже скота бессловесного! Богопротивник. Церкви даже божий не жалел, что же уже после того... Одно слово - животная!

Было что-то, что упруго сдерживало раздражение. Ведь его надо было избить, изувечить, спустить связанного в воду... Его ругали, а он рассказывал:

- Верно, промышлял лошадьми, с товарищами... Жрать надо было, не святой Антоний, утроба требовала хлеба и протчего... Промышлял.

И, опять рассмеявшись каким-то своим мыслям, продолжал:

- Под весеннего Миколу к помещику забрались. Конюшня каменная, крепкая. Замок никак не свернем... Ах, ешь ты мухи с комарами! Зачали возле притолоки стену разбирать. Разобрали, - ан в стене железный болт заложен, лошадь-то не пройдет, не подогнется. Что тут делать? Скоро светать... А конь - аглицкий жеребец, для приплоду, тысяч десять, а то и больше стоит. Влезли в конюшню, наклали досок на тарантас, с тарантаса - на сеновал, завязали коню глаза, ввели на сеновал, а в барское окно - трах! - камнем. Выскочили с ружьями, с револьверами к конюшне, - стена разобрана. Отомкнули двери, отворили, коня нету. Хлопают об полы, дивуются, как лошадь могла под болт пролезть, - стало быть, на коленки стала. А мы лежим на сеновале да слушаем. Зараз нарядили погоню человек десять с ружьями, и пан с ними, и залились в степь, - больше, дескать, некуда. Ну, мы подождали трошки, наклали опять досок, свели коня, вывели через двери, прихватили с базу двух меринов да помаленечку и уехали в другую сторону.

Шершавые усы и брови шевелятся.

- Гореть тебе в печи огненной!

- Го-о-о!.. Ничего, проживу, еще вспоминать будете.

Они хмуро и раздраженно уходили, ругая его, но с странным ощущением, что - да, будут вспоминать, будут его вспоминать. Чем? И мешались в душе неприязнь и раздражение со странным чувством глухого и смутного удивления перед этим человеком.

По-прежнему каждый день загоралась зорька над лесом, загорались кресты в монастыре, а вечером за поворотом, отражаясь, потухал красный закат, но долго в сумерках белели стены монастыря.

Уютно чувствовалось Афиногенычу на его пустом, безлюдном берегу. Одни у него были разговоры - с немymi рыбами, которые его хорошо понимали, и он их отлично понимал. Да чайки вели с ним деловые сношения, постоянно летая и подбирая остатки рыб. Для них у него находилась добродушная шутка, улыбка из-под жестких усов; для людей оставались колкие, язвительные, насмешливые слова. И ничто его не связывало с людьми.

- Афиногеныч, - говорили ему, - и жи-

вешь-то ты не по-людски: ни у тебя роду, ни племени, ни семьи, ни у тебя детей...

У него шевелились усы и брови.

- Будет того, что вы щенков плодите... перво-наперво, чтоб половину с голоду уморить, а которая остатняя половина подыметя, будет заместо вас скотиной в ярме ходить.

И было все одно и то же: река, лес, дальний поворот и в синей расщелине белый монастырь. Старик в тени обрыва плетет сети, и тихо моет вода отмель, тихо шепчутся нависшие деревья, беззаботно реют ослепительно-белые чайки. Точно все отодвинулось кругом - и города, и деревни, и людское горе, и прошлое, и молодость. Тихо, спокойно, задумчиво. И сеть, ложась на песок тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растет новыми кольцами.

Думает ли Афиногеныч о далекой молодости, рвущейся неизбытыми еще силами, о борьбе одного против всех, рад ли ласковому солнцу, воде, безлюдному берегу, таким же старым, как и он, деревьям, тоже с подмытыми, свисшими корнями, или просто внимательно следит, чтобы правильнее цеплялись

друг за дружку новые глазки?

Ночи приходили такие же ласковые, тихие и задумчивые. И не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. Неподвижной темнотой темнела река, или совсем ее не было, и был провал, бездонный и разверстый, и будто стояла вдоль реки густая караулящая таинственная тень.

У потонувшей избушки слабо краснеет, шевелится костер, такой же древний от века, как эта ночь, и в ней невидимая река, такой же одиноко брошенный, как этот старик, у которого сердито шевелятся брови и усы на красном, отсвечивающем лице.

Потом костер засыпает - и нет старика, нет гор, нет реки.

Из города приезжали скупщики. Они были проворные, ловкие, плутоватые, расчетливые. Торговались, били о полы, по рукам, и пахло от них уснувшей рыбой, лавками и городским духом. Но Афиногеныч был с ними угрюм, малоречив и упорен, как заноровившийся конь. Назначал цену и уже не сдвигался, как глинистая глыба у обрыва. А раз, когда особенно настойчиво предлагали низкую це-

ну, вывалил на их глазах в реку целую лодку живой, трепещущей рыбы.

И долго они грозили ему кулаками, и разносилась скверная крикливая брань по реке, по берегу.

Раз пришел сюда кучками измученный оборванный, исхудалый, с ввалившимися щеками деревенский народ. Шли в город - либо на суд, либо садиться в тюрьму, либо хлопотать о пропитании. Садились, выставляя под жгучее солнце костлявые, босые, потрескавшиеся ноги, почернелую, ввалившуюся грудь, сидели и ковыряли горячий рассыпчатый песок.

- Мочи нету! Край - больше некуда. Скотина попадала, избы раскрыты, ребятишки мрут.

Старик шевелил усами и как бы нехотя бросал:

- А вы бы того... к Паисию... он убоготворит: стало быть, любите ближнего и протчее.

- Край пришел! Все одно - ложись помирай.

- У него теперь брюхо-то понадбавилось. Землицы-то они подкупили округ вашей деревни вплоть до Ольхового Рогу... Свечечку

подите поставьте.

Белел монастырь.

А деревенские ныли.

- Больше некуда. Край. Нету мочи!.. - за-  
унывно стояло над тихой рекой, как припев  
вековой, никогда не смолкавшей песни.

А старик говорил, накидывая слова, как  
новые петли в сети, которую вязал:

- Было нас трое о ту пору, молодые. Вывели  
мы у богатея, - всю округу держал в кулаке, -  
вывели тройку: дорогая тройка. Да не успе-  
ли, - нагнали у реки. Я успел в камыши, сижу  
в воде по горло, а товарищей сцапали. Сбежа-  
лась вся деревня. Богатей кровью весь налил-  
ся, лютый ходит, зверь зверем. "А-а!.. Бейте в  
мою голову!.." Подступились мужики. Това-  
рищ стоит, руки скручены назад, по лицу  
кровь. И поднял голову и говорит: "Братцы,  
сами знаете, никогда ни одного мужика не  
тронули, жеребенка не взяли, заимствова-  
ли мы только у богатеев. Сосут они из вас  
кровь... Ужли ж за них заступитесь, сами себя  
по ногам бить будете?.." Насупился народ, гля-  
дят в землю, чешут в затылках. Екнуло у меня  
сердце. Уже совсем поднялся я из камыша, к

ним, то есть к мужикам-то: "Дескать, братцы, вместе страдаем, одна у нас чаша горькая". Да мироед как заревет: "Али не видите, конокрады, душегубы!.. Бейте в мою голову! Три ведра водки ставлю!.." Зашатался народ, зашумел. Вдарил кто-то товарища колом, свалили и зачали... Цельную ночь сидел я и глядел, не отрывая глаз, а они били, они измывались, они мучили. Не признаешь за человека, а они все молотят по мясу, по красному мясу, во тут, передо мной, рукой подать...

Старик передохнул и глянул красными глазами.

- Цельную ночь глядел... Ушли. Вылез, стоял над товарищем, - говядина красная, боле ничего. Пошел, как пьяный... А после того восемь раз сжег деревню. Из тюрьмы, из Сибири бегал. Прибегу и сожгу... Все разорились. В восьмой раз как сжег, разбрелась вся деревня, одни головни остались... А теперича и место то запахали, ничего нет.

Все так же белел монастырь, стояли горы и за лесом пропал поворот реки. Оборванные люди сидели, подняв острые колени и раскапывая горячий песок.

Лохматые, нависшие брови грозили кому-то, приподнялись. И старик вдруг злобно бросил:

- Мало с вас шкуру спускают!

У тех тоже блестят озлоблением воспаленные глаза.

- По две дерут с каждого.

- Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли, - может, тогда хоть за ум возьметесь...

- Не лайся, не собака.

- Может, морду от земли подымете.

- Ты лучше перевези нас, Афиногеныч.

Старик разом успокаивается и брезгливо обегает их из-под насупленных бровей.

- По копейке с рыла.

- Побойся бога! Не емши целый день, падем нето где на дороге... Десять верст крюку на паром-то, не дойдем.

- Даром не повезу.

- Христа ради!.. Сделай божецкую милость... Ни гроша за душой ни у кого.

Старик молча отворачивается и спокойно принимается за работу, как будто он один. Те

обступают, униженно кланяются, просят, голоса становятся хриплее, крикливее.

- Чего на него смотреть! Спихивай каюк!..

Они берутся за лодку, озлобленные, кричащие. Старик, как гигант, размахивает веслом; удары сыплются на головы, на обожженные костлявые плечи. Весло раскалывается, и куски летят, сверкая свежей древесиной. Старик схватывает небольшой якорь с растопыренными лапами, и он гудит в воздухе в дюжих руках.

Все кидаются в разные стороны.

- Тю... Объялся белены!.. Зверь бешеный!..

Он смотрит на них, как на побитую собаку.

- Сволочи! Дохлое мясо! Вонь от вас стоит, мир только гноите...

А они идут вялой, шатающейся походкой. Идут, и солнце жжет сквозь рваное тряпье почернелое тело, и накаленный песок палит истрескавшиеся ноги, и река нестерпимым блеском слепит воспаленные, ввалившиеся глаза.

Реже и реже перевозил Афиногеныч богомольцев. Придут бабы с изборожденными, вековой усталостью лицами, с покорными гла-

зами, в которых стоит один и тот же, непонятный для них самих, от века безответный вопрос. По целым неделям - никого. Редко когда приплетутся мужики.

По большим праздникам приваливала молодежь. Но они не переезжали на ту сторону, а приносили с собой водки, лузгали семечки, играли на гармонике, пели песни, и над тихой рекой неслись крики, смех, крепкие слова и брань.

Собственно, Афиногеныч ничего не мог им дать и не обращал внимания на их шумную компанию, но его отрывочные, несвязные рассказы о прошлом, о буйной, непокорной молодости, едко и зло оброненные замечания собирали около него кружок.

Из толпы вытягивающих вокруг него шеи парней слышалось:

- Двоих наших лесники убили... порубщиков.

- Десятин сто его, лесу-то...

И все глядели на сумрачный монастырский лес, темной густотой выделявшийся у светлой реки.

- Придет черед...

- Погреем руки...

- Все одно это - не жисть... Одинаково про-  
падать - тут или на каторге.

- Из каторги каторга не страшна.

- И-и, милые мои, - говорил старик, - чего  
ерепенитесь? Али плохо овце, как с нее  
шерсть стригут?..

...Побывал как-то у Афиногеныча и нико-  
гда не бывавший дотоле гость монах, черный,  
с бородой, с светящимися маленькими прони-  
зывающими глазками, в скуфье.

Старик тесал новое весло, а монах стоял и  
глядел подозрительно и враждебно.

- Ты что же это, али басурман?

- А что?

- Ни тебе благословения, ни тебе креста не  
надо?

- Замучились вы и без того, сколько набла-  
гословляли кругом. Надо и вас пожалеть, -  
вишь, жиру-то у тебя от благословения напер-  
ло.

Монах пододвинул обрубок, сел, опустил  
глаза и молчал, и лицо его было холодно и  
жестко. Потом заговорил:

- Напрямик тебе скажу: все знаю.

- Тебе так и полагается - во святом месте живешь.

- Все знаю, и давно. Отец игумен велел доложить полиции в городе, чтоб убрали, а я упробил: пуцай грехи замаливает, пуцай живет. А ты что же это делаешь? В благодарность народ мутишь?

- Мутного не замутишь.

- Ну так вот тебе сказ: ежели еще хоть раз дойдет, что ты смутьянишь народ басурманскими речами, - сейчас же позовем полицию, и крышка тебе!

Топор, тихонько тюкая, заворачивал тоненькую стружку. Старик молчал. Потом опустил топор, усы шевельнулись.

- Кто же бабьят вам будет перевозить? То же на паром округ не всякая захочет киселя хлебать...

И опять топор затюкал, заворачивая тоненькую стружку.

Маленькие глазки монаха забежали огоньком, потом опять глядели холодно-враждебно, и лицо было спокойное и жесткое.

- Хулу возводят на ангелов господних, не токмо на иноков, а только ежели ты...

- А... самим вам заводить перевоз не покажется зазорно? Вишь, я вам и пригожаюсь. Ну, полиция-то станет брать, что ж, придется обсказать, как Марьянку-то вытащили из воды, бросилась топиться... Чай, знаешь?

Чернец побагровел и ринулся к деду:

- Т-ты... старик! - Потом сдержался и холодно проговорил: - Язык-то попридержи, старика, попридержи. Даром-то тебе не пройдет...

И пошел, черный и грузный, тяжело вытаскивая ноги из песка, пошел к лесу.

Лето было сухое и жаркое, и, должно быть, от суши по ночам стояли зарева.

С вечера небо бывало бархатно-черное, а к полуночи начинало занимать, сначала смутно и неясно, а потом разрасталось, и из-за леса глядело зарево, багровое и колеблющееся. Было молчаливо-зловещее в его мертвом шевелящемся взгляде.

А потом понемногу тускнела чернота в другом месте, и смутно нарождался красневший отсвет, и разрастался, и глядел из-за черного края, багровый, мертвый и шевелящийся.

И потонувшие среди ночи горы, и невиди-

мая река, и глухой лес, и монастырь, который стоял во мгле, и слабо плывшие по темной воде глухие темные звуки колокола - все казалось слабым, маленьким и ничтожным перед этим немым, багровым, стоявшим на небе ужасом.

Черное небо пылало в разных местах, но здесь, внизу, по-прежнему было немо, неподвижно, молчаливо, темно и жутко.

Старик много раз вылезал за ночь из избушки, и его темная фигура долго чернела среди молчаливой ночи перед молчаливо, зловеще, ничего не освещающая глядевшим заревом.

Вставала ночь далекого прошлого... Бушевал ураган огня, носились освещенные галки, голуби, дико ревела, задыхаясь в дыму, скотина, метался обезумевший народ. Огонь пожирал, извилисто облизывая, избы ласково-пворными светящимися языками, и зарево охватывало полнеба, но в овраге, где он сидел, глядя из-под насупившихся бровей приподнятыми очами, было темно и немо, как здесь.

Старик глядел на эти неподвижно стояв-

шие багровые зарева из-под насупленных старых бровей и приговаривал:

- Ага, монастырские экономии полыхают...  
Добре, добре, ребятки! "Тогда не осталось камня на камне, и самое место вспахано..." Добре, ребятки!..

Раз старик спал чутким сном, и кто-то сквозь сон толкнул: "Скорее!.."

Он вскочил, выбрался. Насторожившаяся ночь темна и тиха, в разных местах злоеще стоят зарева. Он нагнул голову, прислушался - никого. Смутно темнел обрыв, над ним деревья.

И, отвечая предчувствию и темному ожиданию, хрустнул одинокий звук наверху, в лесу. Упала ли веточка, прокрался ли заяц, или шарахнулась неуклюжая сова... Опять повторился. Захрустело, затопало. Кто-то бежал, приближаясь торопливо. Посыпалась глина. Мелькнули фигуры - один, другой... Скатились с обрыва - и в темноте перед Афиногенычем стоят два парня, тяжело, быстро и прерывисто дыша:

- Вези скорей!

- Откеда?

- Из монастырской экономии.

Слова падают коротко, быстро, отрывисто, с особенным, помимо формального, значением. И старик не спрашивает, идет к избушке, берет весло, и они спихивают и садятся в каяк. Берег темно расплывается. В носу говорливо бьется вода, бурлит весло. Лодка неподвижна среди ночи, среди реки. И кажется - это продолжается долго, и кажется - только отошли, а над головами черно нависли уже невидимые, но осязаемые громады. Лодка ткнулась о другой берег.

- Прощай, дядя!..

Опять говорит в носу говорливая вода, а лодка стоит среди темной ночи, среди темной реки, в виду молчаливого багрового зарева. Чудится - все затаилось, примолкло, потонуло в густой мгле, в чутком напряжении ожидания развертывающейся огромной немой драмы. Точно гигантская завеса кроваво вздрагивает и шевелится, охватив полнебосклона, и вот разверзнется, и понесутся крики, и звон, и вопли, и смятение ужаса караемых. Так было в ту последнюю ужасную ночь, когда бушующее пламя пожирало избы, скот, людей...

И была тиха темная река, темная ночь, только темное небо багрово светилось.

Вернулся Афиногеныч, вылез из каюка, вытащил его до половины, прислонил весло и забрался в избушку на сухое душистое сено.

Не спалось. Поминутно прислушивался. За плетеными стенами кто-то шуршал, ходил и хрустел сучьями над обрывом. Но когда выставлял голову наружу, по-прежнему было темно, тихо, невозмутимо.

...Раз почудился как бы выстрел, далекий, глухой и зловещий, и снова тихо. Старик опять послушал: может быть, свалилось подгнившее дерево или плеснула большая рыба? Звуки, тонувшие прежде в ночной тишине, теперь странно и чутко выступали, и ухо жадно ловило.

Опять в лесу захрустело отчетливо и ясно. Слышно было - громко, смело и не таясь хрустели и ломались сухие ветви, и чьи-то тяжелые спешащие шаги отдавались по сухой, крепкой земле. Старик хмуро улегся и не подымал головы.

Уже слышны голоса, крики и переговариванья нескольких человек.

- Да тут голову сломишь!
- Спускаться тут никак нельзя.
- В объезд.

- Да куда в объезд... Темень, зги не видать, бездорожно.

Раздалось фыркание лошадей.

- Лошадей оставим наверху. Спускайтесь сами.

Посыпалась глина, захрустел песок. В стенку раздался удар, - вся избушка затряслась.

- Эй, ты! Выходи... Выходи, что ль...

- Ась?.. Кто там?

- А вот я тебе покажу.

Двери сорвались, и темное отверстие кто-то загородил. Чиркнула спичка, на секунду осветив развешанные сети, сено, старика... И опять глянуло темное четырехугольное отверстие дверей. А за стенкой голос:

- Один, никого нет.

- Эй, вылазь!

Старик выбрался и стоял перед ними угрюмой темной фигурой. Их было пятеро.

- Ну-ка, старый хрен, давай лодку, вези на ту сторону. Тебе говорят...

- Кого зараз перевозил?

- Никого.

- Брешешь. Ну-ка, свети, Миколай.

Вспыхнул пучок сухого хвороста. Пламя трепетало, и трепетали и скользили живые тени. Казаки, нагнувшись, шаг за шагом рассматривали истоптанный песок.

- Вишь, следы, прошли только.

- Что же ты брешешь, сучий сын?

- Мало ли народу утром в монастырь к обедне переправлялось.

- Ну, ну, заговаривай зубы. Садись, ребята.

- А лошади?

- С лошадьми нехай Иван на перевоз скачет. - И, обернувшись к обрыву и приложив ладони ко рту, зычно крикнул: - Ива-ан! Выезжай на дорогу да лупи к парому. А там выедешь, валяй к Сухой Балке, там жди.

Шарахнулась во тьме ночная птица, а с обрыва донеслось:

- Слушаю!

И стал доноситься удаляющийся ночной топот.

- Ну, ты, чертова кукла, вези!..

Они все подошли к лодке...

- Далече не уйдут... тут деться некуда.

Старик положил в каюк весло, попробовал ногой, крепко уперся в песок, навалился плечом и сделал огромное усилие разом спихнуть и далеко оттолкнуть лодку в глубокое место, вскочить и уехать. Каюк скрипнул о песок и всплыл, тихонько покачиваясь у самого берега. Нет, старик, прошла молодость, прошло время, прошла сила... Он вздохнул, угрюмо придерживая колыхающуюся лодку.

Сели. Весло бурлило в темной воде.

Афиногеныч все посматривал в темноту, в ту сторону, где был монастырь. И стало ему чудиться, что среди тьмы мутно проступают его очертания.

Пятеро тихо сидели, крепко держась за мокрые борта, у самого края которых влажно чувствовалась колеблющаяся вода.

- Ну, ты, сыч, греби, что ль... заснул!..

И в ответ над рекой пронесся хищный крик:

- Проснулся!!

В ту же секунду темная фигура старика метнулась в сторону. С шумом бурно устремившейся через борт воды слился крик отчаяния пятерых людей. С минуту слышались

всплески нечеловеческой борьбы, потом стихло.

Старик с усилием плыл. Одежда все больше намокала и тянула ко дну. Вода влажно и настойчиво вливалась в рот, руки с трудом подымались. В глазах замотались огненные мухи. С нечеловеческим напряжением, глотая страшно вливавшуюся воду, взмахнул раз... два... и перестал грести.

Река по-прежнему была тиха и спокойна. Но среди ночи, среди неподвижной тьмы стали выступать залитые розоватым отсветом монастырские стены, башенки, колокольни. Стали выступать розоватые верхи прибрежных гор, как розовым шелком, чуть подернулась река, - небо пылало от черной угрюмой линии горизонта до зенита, все было залито багровым заревом.

1907